

РОМАН СЕНЧИН



ОБРАТНЫЙ ПУТЬ

ПОВЕСТЬ

1

Дембельский поезд ползёт сквозь чёрные еловые леса, мимо покрытых синим льдом озёр. Снег с них постоянно сдувает, и так стрёмно гонять на “Буранах” по этому льду во время сработок.

Поезд останавливается на каждой станции.

Названия пока нерусские, смешные и пугающие, как слова из заклинаний мухоморной колдуньи, — Куокканиэми, Хухоямяки, Яккима, Ихала, Элисенваара, Хийтола... Но когда-нибудь в окне появится родное: Приозёрск, следом Девяткино, а там... Не надо пока об этом... лучше не думать...

Дембелей мало, ведут себя более-менее — изо всех сил держатся, но всё равно заметней всех. То и дело вскакивают с сидений, идут курить, стуча подбитыми сапогами, бряцая знаками. Говорить шёпотом просто не могут, сами собой рвутся восклицания, строки песен.

— Покидают карельские края // молодцы-погранцы дембеля!..

— А нас ждут девушки, бульвары и кино!..

— Наутро встану, головушка болит, // и ничего не сделает товарищ замполит!..

Пассажиры понимающе молчат: случайные люди в таких — медленных, межобластных — поездах редки. А эти навидались и оглушённых страхом неизвестности призывников, и едущих в отпуск, и тех, кто оттрубил свои два

СЕНЧИН Роман Валерьевич родился в 1971 году в городе Кызыле Тувинской АССР. Окончил Литературный институт им. М. Горького. Автор нескольких книг прозы и публицистики. Лауреат премий “Ясная Поляна”, Правительства России, “Большая книга” и др. Публикуется в “Нашем современнике” с 1998 года. Живёт в Екатеринбурге.

года и сейчас сходит с ума от нетерпения выскочить на перрон Финляндского вокзала свободным человеком.

Нет, до свободы ещё далеко. Военники у сопровождающего — молодого лейтёхи, — а он сразу, только расположились, куда-то исчез. Бойтся, наверно, что сейчас напьются солдаты и от души, за всё, что было, что делали с ними шакалы, отоварят.

Да не отоварят. Его даже жалко. Вот через каких-нибудь два часа перед ними откроется огромный, яркий, фантастический мир — гражданка. А он вернётся в отряд и будет там гнить.

Но слишком вольно высказывать на перрон рискованно. Все последние месяцы дембеля рассказывали друг другу, как на вокзале дежурят патрули и хватают пьяных или расхристанных и отправляют на губу. Окружную, лютую.

Точных сведений об этом нет — дембельнувшиеся раньше исчезают, словно их на самом деле и не было никогда, — может, это вообще солдатские байки, страшилки, но помнить об опасности надо.

Поэтому Женька Колосов — для пацанов Джон, Жэка, Кол — и не налегает на портвейн. Делает глоток и ставит стакан под стол, на бортик обогревателя. Обогреватель чуть тёплый, в вагоне прохладно, но ему в шинели нормально. Да и осталось ехать уже...

Их в отсеке плацкарты шестеро. Билеты сидячие. Один боец, Дания, сразу, как только загрузились в Сортавале, залез на вторую полку, отвернулся к стене. Может, спит, может, просто ждёт. Остальные пятеро облепили стол. Познакомились вчера днём, когда оформляли бумаги в отряде, сдавали обмундирование, получали деньги.

С некоторыми Женька где-то когда-то встречался, но не помнит подробностей. Служба нормального погранца такая: четыре месяца или полгода — кому когда повезло призваться — учебка, а потом полтора года на заставе. Если не заболел настолько серьёзно, что нужно в госпиталь, если не выслужил отпуск, если не умер близкий родственник, то все эти полтора года ты можешь торчать на одном клочке земли, выполняя одни и те же дела, видя одних и тех же людей. Хлебовозка — событие, переброситься словом с кем-то из жён офицеров или прапора — любовная интрижка, пополнение — начало новой эры.

Женька провёл на заставе девятнадцать с половиной месяцев с единственным — десятидневным — перерывом. Заболел вдруг ветрянкой и был отправлен в госпиталь в Сортавале. Эти десять дней, особенно первые четыре, когда находился совершенно один, еду подавали, будто в тюремной камере, через окошечко в двери, — вспоминаются как самые лучшие за время службы. Может — счастливые.

Спал сколько хотел, читал книгу за книгой — санитары приносили из библиотеки, даже стихи сочинял. Точнее, тексты песен. Неудачные, правда, потом выкинул...

— Эх-х-х! — протяжно и крепко, словно излишек силы, выдохнул Балтон, хлопнул ладонями по коленям. — Когда ж доползёт?..

— Не думай, отвлекись, — советует Гурьч.

— Легко сказать...

Балтон здоровяк, сразу видно, что много времени проторчал в качалке. Он в забанном по всем правилам, и даже с перебором, дембельском наряде, с гирляндой аксельбантов, выгнутых из-за вшитого внутрь винила, с парадными погонами на перекроенном, чтоб тельник видно было до груди, камуфляже, с обработанным бритвочкой шевроном, фура с обрезанным козырьком и вздыбленной почти вертикально тульей; на ногах — укороченные и отутюженные кирзачи... Балтона Женька помнил по учебке — сталкивался в столовой, в курилке, на плацу. Тогдашний Балтон выглядел щуплым, бестолковым, затюканным. Да и Женька наверняка был таким же.

Потап раза два-три оказывался за рулём хлебовозки, доставлявшей на заставу не только хлеб, но и всю остальную жратву. А главное — новости из большого мира...

Остальных же — Дано, Гурыча, Ваку — он если и видел где, то мельком. Не выделил, не отметил. Как и они его.

— Чо, допили? — Вака потянул с пола бутылку. — Плескаю. Кому?

Удалось кушить у проводницы три пузыря “Тарибана”. Выложили за каждый семьдесят рублей — охренели, но деваться некуда... Бутылки шершавые, этикетки истлевшие, на дне — беловатый осадок. Сколько лет этому “Тарибану”?

Лезет туго, хуже одеклона — глотаешь, и сладкая, вязкая капитوشка медленно спускается в живот. И лежит, не растекаясь. Лишь потом, постепенно, впитывается во внутренности, несёт в голову волну липкого тумана. Во что превратится этот туман, когда начнётся похмелье, лучше не думать.

— Ну, — Балтон поднимает стакан, — за гражданку, чуваки!

— Тише, — просит осторожный Потап. — Ментов не хватало.

— Да откуда?

— Менты везде есть. Особенно там, где мы...

— Что ж, мудро... Давайте.

Сдвигают стаканы. Громко, преодолевая тошнотные спазмы, вгоняют в себя.

— Что там у нас? — Вака отодвигает шторку.

За окном непроглядная тьма, хотя на часах всего-то начало седьмого. Ну а что? Карелия, шестнадцатое декабря. Они — одна из последних партий в этом году. По заставам и отрядам Северо-западного округа остались самые-самые раздолбай и залётчики. А гнутики дома уже почти два месяца...

Впрочем, некоторым из гнутиков не повезло — на их заставу вернули самого раннего, Паху. Так он хорошо служил, таким был исполнительным. Отпустили на дембель при первой возможности — дней через пять буквально после приказа. А на следующее утро Паха вернулся.

Оказалось, лично командир отряда, полкан Шейбин, первых дембелей осматривал. Ну, и докапывался до каждой мелочи. Обнаружил что-то неуставное у Пахи и отправил дослуживать. И недели две — долгие две недели после такого облома — Паха кис на заставе. Да нет, не кис, конечно, а ходил в наряды, бегал по сработкам, морозился, жрал перляк, наматывал портосы.

А теперь офицерью уже пофиг — вон каких отпускают расписных, типа Балтона. Гусар прямо.

— У меня одноклассник третий киоск открыл, — как раз хвалится, — башли гребёт. Всем всё надо, а у него — есть. Везёт и из Польши, из Италии куртки, из Китая прямые поставки. К себе зовёт. Пойду, блин. А что?

— Да ясен перец. Сейчас самое время деньги стричь, — кивает Гурыч. — Я тоже искать буду ходы.

— А мой батя “КамАЗ” прити... приватизировал, — сообщил Потап. — Дальнобоём с ним займёмся. Армии спасибо — права на грузовик получил.

Гурыч нахмурился:

— А что это за приватизация?

— Ну, можно выкупить машину там, гараж государственный... Ну, вот батя и решил. АТП всё равно разваливается.

— Отберут.

— Кто отберёт? Деньги заплачены.

— Государству твои деньги...

— А, — Балтон поморщился, — где оно уже, государство это... Джон, а ты как? Какие перспективы?

Все они из Питера или области, кроме Женьки. Да и Женька формально питерский — призван Невским военкоматом. Но в Питер он приехал за полтора года до армии. Учиться на мозаичника. Когда приехал, оказалось — места мозаичников все заняты, есть на штукатуров-облицовщиков-плиточников. Пошёл туда. Через несколько месяцев переехал из общаги — снял комнату на другом конце города, училище стал посещать реже и реже. На втором курсе, буквально через неделю после дня рождения, его прихватили из военкомата...

— Может, в путягу вернусь, доучусь, а нет, — он пожал плечами. — Не знаю. Домой, наверно. Тем более проездной дотуда выписан.

- А откуда ты?
- Из Пригорска.
- Эт где это?
- В Хакасии.
- Сибирь?
- Ну да...
- Далеко.

2

Домой не хотелось. За эти три с лишним года родина, квартира их, родители, сёстры стали как бы и не совсем реальными. Он писал туда письма, получал ответы, иногда — когда жил в Питере — вызывал их на переговоры через соседей, у которых был телефон, потом, когда служил, им удавалось дозвониться до него, и, под взглядами офицеров в канцелярии, он бубнил: “Всё нормально... Служу... Питаюсь нормально...” А потом, стоило положить трубку, начальник заставы или замполит выговаривали: “Не “нормально”, Колосов, не “нормально”, а отлично. Отлично!”

После восьмого класса он ушёл из школы, никуда не стал поступать. Подрабатывал, шабашил — несмотря на возраст, был крепким, — и, подкопив денег, в конце августа восемьдесят восьмого, получив ответ из ПТУ № 98, уехал в Ленинград.

Уехал почти тайно. В последний момент сказал, что едет учиться на мозаичника, деньги есть, уже и билет куплен на поезд... Мама бессильно покачала головой, отец, уставший после смены, закричал, сёстры были маленькие, мало что соображали. В общем, никто его не стал спрашивать, зачем, почему. Ведь есть же недалеко — в Абакане, например, — свои училища.

А если бы стали, что бы он ответил? Зачем именно в Ленинград? Тогда он не мог себе объяснить. Как-то сошлось для него — передачи про дворцы и каналы, та музыка, которая оказалась его, которую хотелось слушать постоянно, ощущение, что там — его настоящая родина... Это бы он не мог тогда объяснить семье — сам не понимал, но чувствовал. Уже в поезде, на третьей сутки лежания на верхней полке, понял: хочется красоты. За ней поехал.

ПТУ находилось, по сути, за городом. На самой-самой его окраине. Женька добирался туда от метро на автобусе и с каждой минутой разочаровывался, падал духом всё сильнее — вот остались позади старинные здания, вот переехали Неву, вот появились панельки, из каких состоит их Пригорск. Но кончились и панельки, а автобус всё ехал. Уже по пустырю. И за этим пустырём стояли две пятиэтажки. Как оказалось — общежития.

Потом Женька узнал, что там два училища, две общаги рядом, и между ними идёт война с каких-то незапамятных времён... Училища были за общагами, а дальше пустое то ли поле, то ли болото. А слева — с десяток угонных, кривых, но обитаемых избушек.

Порядки в путяге оказались почти армейскими — в десять часов вечера дверь общежития запирается, и опоздавший может спать на улице; девушки на одном этаже, парни на другом, и этажи на ночь перекрываются; у каждой группы учащихся есть воспитатель (прямо как в детском садике), и слушаться его нужно беспрекословно; прогулы, даже опоздания на занятия будут учитываться во время будущей работы — много опозданий, а тем более прогулов, — зарплата ниже. А главное — перед началом учёбы им дали подписать документ, что на протяжении трёх лет после окончания ПТУ они будут обязаны отработать на том предприятии, куда их пошлют. Иначе... Пугали даже уголовкой.

Тогда, помнится, Женьку это оскорбило — крепостное право какое-то, а теперь он надеялся на роспись в той бумаге. Не зря же страна тратилась на него полтора года. Легче доучить, и пусть работает на благо города...

Зря он съехал из общаги. Сейчас она представляется вполне пригодной для жизни. По сравнению с казармой в отряде и кубриками на заставе. Но в те месяцы Женька просто мучился. Комната ещё ничего — на четырёх человек, тумбочки, стол у окна, шкаф возле двери, — а вот умывалка,

туалет, душ... Они мало отличались от того, с чем потом он столкнулся в армии. Хотя подъём был падающий, не подрывались все разом и не бежали мочиться по трое в один унитаз, не толкались у раковин...

Да, зря съехал, снял комнату. Учиться после этого совсем расхотелось. Да и ездить далеко — с Васьки до Народной. Реально через весь город с запада на юго-восток. Линия метро прямая, но до станций и там, и там пелёхаться... На Ваське полчаса минимум, а с “Ломоносовской” до путяги пешком около часа.

Женька усмехнулся: поймал себя на том, что, сожалея, вспоминает этот путь с удовольствием, и подумалось, услышь тогда, в военкомате, когда согнулся перед столом, готовясь поставить подпись в военном билете и тем самым уже наверняка признать себя призванным: “Выбирай, или оставшиеся полтора года ни одного прогула, ни одного опоздания, или забираем на два года”, — он бы, конечно, выбрал “ни одного прогула и опоздания”. А смог бы выполнить? Да вряд ли. Вряд ли...

До армии он был совой — ложился поздно, вставал всегда через силу, под крики сначала родителей, потом, в общежитии, воспитателя. Когда снял комнату, будить стало некому, и он мог проспять часов до десяти. Какое уж тут училище... Да и не хотелось учиться — не видел смысла.

Нравилась только уроки архитектуры. Вел их... Женька напрягся, но ни имени, ни отчества преподавателя вспомнить не мог. Зато самого видел памятью отлично, слышал его голос, мягкий, увлекающий, но в то же время грустный. Словно бы преподаватель, сам любивший свой предмет больше всего на свете, пытавшийся передать эту любовь им, сидящим за партами, в то же время не верит, что получится, что они вообще слышат его.

Так оно, в общем-то, и было. Пятнадцатилетние ребята не шумели, сидели тихо, даже другими делами не особенно открыто занимались. Но в их глазах было полнейшее безразличие. Обречённость на то, что в этом процессе создания построек — хоть обычных хрущёб, хоть дворцов — им отведена будет роль самая низовая. Ну, не самая, но сразу после землекопов и каменщиков. Они, если окажутся на стройке, станут штукатурить стены и потолки, облицовывать, в лучшем случае — класть плитку.

Правда, ещё во время зачисления директор объявил, что лучших выпускников рекомендуют в строительные и архитектурные институты, но этому, кажется, никто не придавал значения...

Особенно мучительно было для этого препода общение с учениками. “Сарвин, расскажите нам, пожалуйста, что такое пилястры”, — предлагал он как-то давясь, заранее зная, что ничего толкового Сарвин ему не ответит. И Сарвин не отвечал — мычал, мекал, чесался.

Чаще всего преподаватель архитектуры просто говорил: “Сарвин, — или Ухов, или Потапова, или Голобородько, или Мухтабаев, или Колосов (подавшись общему безразличию, и он, хоть и был старше остальных на год-полтора, быстро стал пропускать рассказы препода мимо ушей, ничего не записывая), — садитесь”. Но иногда не выдерживал: “Ребята, это в школу вас загнали насильно. Хочешь не хочешь, а приходилось ходить. Но ведь сюда же вы пришли сами, сознательно. Значит, вы стремитесь узнать, как строят здания, стремитесь научиться, обрести профессию, наконец. Почему же вы такие равнодушные? Почему, ребята?”

Большинство смотрело на препода тупым взглядом, самые совестливые отводили глаза или утыкались в столешницы своих парт.

3

— О, блин, Девяткино! — подскочил Балтон, дёрнул шторку вбок, и штёр, на котором она висела, вылетел из дырки в стене; вставлять не стали, положили штёр и шторы на стол.

В натуре, поезд проплывает мимо платформы, явно сбавляя скорость. Вот и указатель с заветным словом “Девяткино”.

— Девяткино, — шепчет мечтательно на своей полке Даня. — Дома, дома почти...

Да, это уже Питер. Здания — высокие, новые — далеко, за пустырем, — но всё равно уже город. Здесь метро. Построили, наверно, с запасом, предполагая, что микрорайоны дойдут досюда в ближайшее время... Можно выскочить из поезда и сесть в метро. И услышать голос из динамика: “Следующая станция — “Гражданский проспект””.

А там ещё, ещё станции, и — “Площадь Восстания”. Невский, Московский вокзал, Лиговка, “Колизей”. Люди, жизнь, гражданка...

Поезд останавливается и стоит. Пацаны, как заворожённые, смотрят на двухэтажный кособокий домишко с чёрными окнами.

— Что, выйдем курнём, — предлагает Балтон, — дыхнём родным воздухом.

Срываются с места и бегут по проходу. Но в тамбуре их тормозит проводница:

— Очнулись. Отправляемся. Через двадцать минут конечная.

— Финбан? — глуповато уточняет Потап.

— Ну, не Москарик же! — хохочет Балтон. — Ладно, потерпим.

Возвращаются в свой отсек, разливают остатки портвейна. И Дане, хоть он и не вкладывался, дают... Последний тост, прощание со службой:

— Ну, за тех, кто в наряде! — И им сейчас кажется, что до конца жизни они за каждым столом будут его произносить, представлять плетущихся в эту минуту вдоль “системы” — контрольно-следовой полосы и забора из колючки — пацанов...

Громко глотают терпкую, щиплющую гадость. Вставляют стаканы в подстаканники; Потап относит пустые бутылки в мусорку возле туалета.

— А я в Девяткино четвертак выиграл, — говорит Женька. Неожиданно вспомнил, и так захотелось похвалиться.

И те мгновенно заинтересовались:

— Как?

— Во что?

— В напёрсток.

— Да ну!

— Чтoб кто-то чужой у них выиграл...

— В натуре выиграл. — Женька не горячится, понимает, что они не верят не совсем по-настоящему, подзуживают, чтoб рассказал, — старый армейский способ убить время: послушать байку.

— Ну, и как это было? — спрашивает Вака. — Научи.

— Поехал за джинсами... А там же рынок, самый дешёвый, как...

— Да, — кивает Даня, — я тоже туда часто за шмотьём гонял.

— И тут, почти у платформы метро — напёрсток. Я остановился. Смотрю, чувак, такой простоватый вроде, неопытный, стаканчики передвигает... И ведь знал — всё подстава, всё разыграно у них, а что-то заставило достать этот свой четвертак, который на джинсы копил, и показать, где шарик.

— Ну?

— Ну, угадал — они ведь в первый раз часто дают угадать. И тут же: “Давай по полтиннику. Твой полтинник на мой полтинник”. Я говорю: “Не, извини. — Э, тут такие правила!” Выхожу из толпы, а уже вижу, что в ней пара ребят точно из этих...

— Маяки называются, — подсказывает Балтон.

— Наверно... Я выхожу, и они за мной. Так не спеша, но ясно — сейчас с двух сторон сожмут и вынут и тот четвертак, и мой. — Женька увлёкся, ноги задрожали, как в тот момент, два с половиной года назад. — И тут заметил — поезд метрошный стоит, двери открыты. Я никогда так не бегал. Реально!.. Влетаю, и двери — хлоп. И эти двое в них влипают. Морды звериные вообще!

— Свезло, — говорит Потап. — Могли и загасить, если б успели.

— Да наверняка. Тем более, вагон пустой был...

— А джинсы-то не купил? — спрашивает со смехом Гурыч.

— Джинсы я потом на Мира купил. Нормальные. — Какие именно, вслух уточнять не стал: это были болгарские “Рила”. Если не приглядываться, могли сойти за настоящие...

И вслед за джинсами, которые и поносить по-настоящему не успел, вспоминается хозяин квартиры, у которого снимал комнату. Старикан с отчеством, ставшим именем, — как из анекдотов — Степаныч. Степанычу он оставил на хранение сумку с ботинками, джинсами, пальто.

Жив он ещё? Не прошил шмотки? Бухнуть-то он был любитель... Завтра надо заехать. Забрать... После того как получит паспорт...

Двадцать минут растягиваются безмерно... Поезд движется со скоростью человека, часто вообще замирает, содрогается, потом толчками, будто из последних сил, трогается дальше.

Парни беспрерывно смотрят в окно. Называют места, мимо которых проезжают:

— Пискарёвка... Богословское кладбище... Цоя здесь похоронили... Кушелёвка... Кантемировка...

— Вот, чуваки, — говорит Даня. — Возвращаемся, а Цоя нет, Майка нет, “Аквариума” нет.

— И Ленинграда нет, — подхватывает Гурыч, — Санкт-Петербург. И что нас ждёт вообще...

Балтон хлопает его по спине:

— Не ссы — прорвёмся! — Но настоящей уверенности в его голосе не слышно.

4

Не стали ломиться первыми — дождался, пока выйдут другие пассажиры, тогда уж чинно, слегка вразвалку, двинулись из вагона. Вещей почти нет — у каждого обязательный дембельский “дипломат”, у Балтона с Гурычем ещё и спортивные сумки... Конечно, можно было купить за копейки “заполярку” — отличный, тёплый бушлат, — другое обмундирование, но Женька не стал. И денег жалко, и не хотелось тащить в гражданскую жизнь следы службы.

Если Степаныч не сохранил его вещи или умер вообще, купит самое дешёвое на рынке. А шинель побудет вместо пальто — у нефоров это модно.

На перроне сразу столкнулись с сопровождающим. Как мгновенно исчез сразу после Сортавалы, так же неожиданно возник.

— Все здесь? — пробежал взглядом по головам, открыл первый военник: — Гурьянов.

— Я.

Сопровождающий протянул военник ему:

— Держи. Спасибо за службу... Колосов.

Мгновение Женька решал, как отозваться, но ничего не придумал, кроме этого привычного “я”.

— Держи. — В военник был вложен маршрутный лист. — Ты на родину?

— Посмотрим.

— Учти — через неделю обязан встать на воинский учёт. Иначе — вплоть до уголовной ответственности.

— Угу...

— Так, — сопровождающий не стал лезть в бутылку, хотя от “угу” покривился. — Так, Потапов.

— Здесь.

Женька отошёл на пару шагов, закурил. Сигарет оставалось полторы пачки... За неделю до дембеля автолавка неожиданно привезла к ним на заставу не старую пересушенную “Астру” и не дорожные, по десять в пачке, индийские, а нормальный “Бонд”. Женька купил блок, и вот растянул. Позавчера, перед отъездом с заставы, набил ими, а не пайковым “Памиром”, традиционную дембельскую колодку — в деревянную плашку с отверстиями для пятидесяти патронов вставил сигареты и угодил остающимся. Пацанов было четырнадцать человек, кому-то досталось по три сига. В тот момент он не жалел, а теперь надо думать, где купить курева — с ним, говорят, и здесь дефицит...

— Счастливо, товарищи солдаты! — громко говорит сопровождающий и почти бегом направляется к вокзалу. Вряд ли куда торопится, наверняка хочет скорее отделаться от них.

Женька, Гурыч, Балтон, Потап, Дания, Вака стоят кружком на уже опустевшем перроне. Сейчас попрощаются и больше, скорее всего, никогда не увидятся. Дембельский поезд, благодаря которому оказались вместе, прибыл на конечную.

— Ну, давайте!

— Счастливо!

— Мочите, чуваки!

Короткие объятия и отпихивания — будто отправляют друг друга в далёкий путь... И уже оказавшись один, шагая со своим “дипломатом” по площади Ленина, Женька удивился — почему никого из них не встречали? Ведь есть же родители, братья-сёстры, может, у кого девушки... Или не принято сообщать о номере поезда, вагона, чтоб не показывать чувакам радостные слёзы матерей, чтоб не слышали: “СЫночка мой родной!..”

Заметил слева, через дорогу, светящееся голубым слово “Гастроном”. Решил зайти. И так поглазеть, и, может, чего купить. С пустыми руками на ночлег являться некультурно...

Гастроном был просторный, потолки высокие, стены облицованы старой, надёжной плиткой. Простор усиливала пустота. Ни людей, ни продуктов. На полках стояли пирамидками упаковки детского питания с румяным младенцем, в витринах-холодильниках под стеклом выложены ромбики из кильки в томате и салата из морской капусты. На одном поддоне зеленело что-то вроде той же морской капусты или папоротника...

Возле весов, облокотившись на прилавок, дремала продавщица — стук подбитых Женькиных ботинок её не потревожил. Скорее всего, уверена, что он ничего не попросит... Почти напротив прилавка была огороженная фанерой и оргстеклом касса. Кассирша тоже дремала.

Женька растерянно постоял, поозирался и тут заметил столб из нескольких пластиковых ящичков. А в них — пепси-кола! Почему-то не там, по ту сторону прилавка, не на полках, а здесь, рядом с кассой.

Он сделал шаг к ящичкам, и кассирша сразу очнулась. Подобралась, устала на Женьку.

— Можно три бутылки? — сказал он, вытягивая из брюк пачку денег.

— А тара есть на обмен? — Голос у кассирши был раздражённый, точно посылающий подальше.

— В каком смысле — тара?

Она присмотрелась, видимо, осознала, что перед ней пришелец из другого мира, и объяснила почти по-доброму:

— Для того чтобы купить полную, нужно принести пустую бутылку. Требование завода... Стоимость стекла вычитается...

После гастронома и вокзал, и площадь с фигурой Ленина на башне Броневика, и дома вокруг показались Женьке не такими уж весёлыми и живыми. Не как два года назад. Чем-то таким из времён гражданской войны веяло.

Да, хотел увидеть праздник и салют в свою честь — вот он я, я вернулся, встречайте и радуйтесь! — а обнаружил зимний будний вечер переживающего не лучший свой период города.

Конечно, почти ежедневно Женька смотрел программу “Время”: это была обязанность свободных от службы — политически развиваться; разворачивал приходящие на заставу газеты, чувствовал неладное в письмах от родителей. Но чтобы так... пустой магазин... “Пепси” в обмен на пустую бутылку... горящие через один фонари, холмы необранного снега...

5

План действий на остаток сегодняшнего дня у Женьки был простой: добраться до своего армейского друга Лёхи Нехорошева и у него переночевать. Лёха был не просто товарищем или сослуживцем, с которым общаешься по обязанности или от скудости людей вокруг, а именно другом.

Увольняясь весной, Лёха взял с Женьки слово приехать к нему. “Обязоном, понял? Посидим, отметим, и поживёшь, если надо, — у нас квартира в центре, на Лиговке, четыре комнаты”.

В начале октября, когда вышел приказ об увольнении солдат осеннего призыва — “пингвинов”, Лёха — “фазан” — единственный прислал на заставу, но адресованную Женьке (иначе бы не доставили) телеграмму: “Ребята поздравляю желаю быстрее оказаться дома Женька Колосов жду”. Остальные из дембелей прошлых партий промолчали. Да вряд ли и заметили такой важный для тех, кто служит, приказ.

Звонить Лёхе Женька не стал, хотя номер его телефона был записан в блокнотике. Боялся, что если Лёха начнет искать повод отказаться его принять, то дружба их треснет. И придётся мучительно думать, где ночевать. На Степаных надежды почти нет — Женькину комнату наверняка сдаёт, — да и не хотелось ехать сегодня к нему. Хотелось поболтать с Лёхой, рассказать про заставу, оставшихся пацанов — Лёхиных “сынов”, которые теперь на пороге перехода в дембеля, про Женькиных “сынов”, про офицеров, прапора-хомута... Может, и выпить что найдут...

Собрался было идти пешком. Сейчас казалось, что не так уж далеко — через мост на Литейный, по нему до Невского, а там налево, на Лиговку. Но нескольких минут на улице хватило, чтоб начать мерзнуть. Зря не взял ушанку, а фуражка только холодит, да и ботинки вот-вот промокнут; брюки парадки тонкие, а кальсоны Женька из дембельского ухарства не надел, сдал при увольнении.

Был уже восьмой час, но людей в вестибюле метро битком. Это ведь привокзальная станция. Женька давно заготовил пятак, мечтал, что вот сейчас сунет его в щель турникета, услышит приятный звяк и королём пройдёт к эскалатору... Раньше часто сидел на ступеньках, но сейчас, в шинели, не будет, конечно. Будет стоять, свята зелёным сукном погранцовского фургона.

Бросил монету, услышал звяк, пошел, и — с одной стороны по бедру, с другой по “дипломату” хлестанули стальные клешни, преградили дорогу. И тут же его крепко взяли за плечо, отвели от турникета. Развернули лицом к себе двое мужиков.

— Что такое? — разозлился Женька скорее не из-за этого грубоватого задержания, а несбывшегося действия. Все два года представлял, как он войдёт в метро...

— Эт мы хотим узнать — что, — ответил один из мужиков, напоминающий нанятого для задержания зайцев пожилого гопника. — Турникет просто так не закроется.

— Я оплатил. Пятак бросил.

— Пятак — ха-ха! Проезд с весны пятнадцать стоит... Да тебе вообще платить не надо, ты ж с армии.

— Да. Но я хотел...

— Проходи вон справа, где будка. Там бесплатники.

Прошёл, где велели. Благополучно встал на эскалатор. Но ожидаемой торжественности и торжества не почувствовал. Женька был обычным, одним из десятков и десятков поднимающихся и спускающихся — никто на него внимания не обращал, девушки не замечали... И он почувствовал усталость и подавленность. Наверное, это начиналось похмелье...

Доехал до “Площади восстания”, поднялся на улицу. Покурил, любясь стелой, Московским вокзалом, огромной гостиницей с буквами на крыше “Город-герой Ленинград”. Отметил: не сняли. Казалось, после переименования города всякое упоминание о Ленинграде вытравят тут же. По крайней мере, в программе “Время” были такие сюжеты, неодобрительные, конечно, а в газете “Советская Россия” так и вовсе писали, что власть в Ленинграде захватили враги страны. И нового начальника города критиковали. Недавно, например, пригласил в город кого-то из Романовых, какого-то старенького великого князя, который во время войны призывал народы Европы пойти с Гитлером освобождать Россию от коммунистов.

Надо разбираться... Надо прийти в себя, привыкнуть и решить, как жить дальше. Как, где... Сейчас вот стоит, прижавшись к стене станции, и боится

пойти. Столько людей вокруг, машин. Гул, снег шипит под колесами... Одичал на заставе, одичал во всех смыслах.

Так, какой там у Лёхи дом?

Зажал “дипломат” меж коленей, достал из внутреннего кармана шинели блокнот. Лиговка, дом шестьдесят пять. Это в ту сторону, к Обводному каналу. И, судя по всему, недалеко.

Не без робости пересёк Невский проспект. Хотя и на зелёный свет светофора, но... Больше опасался не машин, а столкновения с людьми. Все так быстро ходят, так умело лавируют, а он — как слепой. Нет, оглушённый.

И тянет глазеть-глазеть по сторонам. Хватать знакомое, и воспоминания расpirают и мозг, и душу.

Московский вокзал — Москарик, Маша. Часто по вечерам с пацанами ездили сюда. И на поезда посмотреть, и на проститутку. Следили за какой-нибудь одинокой девушкой и представляли, что проститутка. Не путана, а именно проститутка. Путаны обитали там, в гостиницах, в дорогих ресторанах, куда им вход был заказан, а здесь... Имелись бы деньги, подошли бы. Были уверены, что подошли бы, уверяли друг друга.

Но карманы всё время были пусты. Жалкая мелочь. И, насмотревшись, как одна девушка знакомится с парнем или мужчиной, потом другая, третья, возбуждённые, взбудораженные и от этого проголодавшиеся, бежали к ларьку, где продавали пирожки с ливером — “тошнотики” за семь копеек.

Хотя кормили в путяге класно. От души. Поварихи были полные, румяные, добрые. Давали добавку с радостью... По сути, чаще всего голод гнал Женьку с Васильевского острова в училище. Поесть, а заодно и на занятиях посидеть.

6

Дом нашёл быстро — красивый, огромный, с эркерами. А в поисках нужной парадной пришлось побродить по внутренним дворам... Вот, кажется.

Хм, парадная... Скорее чёрный ход... Дверь открыта, вошёл. Стал подниматься по лестнице и сразу отметил, что она сделана по дореволюционным правилам — пологая, ступени широкие, никакой одышки после четырёх этажей, усталости.

Дверь. Сверился с блокнотом — та самая. Поправил фуражку, вспомнил, что ничего не купил, испугался и тут же решил: вместе сбегает. Вдавил кнопку старого, полужакошенного бурой эмульсионкой звонка. Услышал вдали дребезжание, противное, как у армейского тапика. А спустя полминуты — скрип двери. Не этой, наверное, внутренней.

— Кто там? — женский голос.

Настроившись на то, что откроет ему сам Лёха, Женька в прямом смысле потерял дар речи. Стоял и таращился на деревянную бурую дверь. Даже глазка нет — не увидят, что стоит погранец. Как и Лёха.

— Кто это? — голос женщины стал испуганным.

— Простите... А Лё... Алексей дома?

— Нет его. А что вы хотели?

Первым желанием было развернуться и уйти. Такая обида на Лёху накатила — сам ведь звал.

“А что, — осадил себя, — он должен сидеть и ждать неделями, когда приедешь?”

— Это Евгений Колосов, друг Лёши, из армии. Вместе служили, и он меня пригласил...

— Его нет, к сожалению...

Женька уже набрался храбрости:

— Я только что уволился, я не местный... И некуда...

— А где вы служили?

— На заставе... Одиннадцатая погранзастава, Сортавальский отряд.

Скрежетнул засов, дверь приоткрылась. На цепочке. Потом цепочка упала, и дверь открылась шире. За ней стояла невысокая, пожилая женщина.

Лицо скорбно-усталое, но глаза живые и острые. И взгляд из подозрительного постепенно, словно забыв, как это делается, становится приветливым.

— Да, я вас узнала. У Алёши на фотографиях... Здравствуйте!

— Здравствуйте!

— Он на дежурстве. Будет только завтра после полудня.

— Да?.. — Женька почувствовал, как отяжелели ноги, и в голове завертелся волчок: куда пойти, где ночевать? На вокзал?.. К Степанычу?..

Снова нахлынула обида, и он спросил довольно нагло:

— В милицию, что ли устроился?

— Нет-нет, что вы! В метро. Ремонтник... Курсы окончил, второй месяц работает.

— Ясно... хорошо...

— Да, слава богу, — согласилась мать Лёхи. — С работой в последнее время совсем стало... Никакой работы.

И замолчала. И Женька молчал. Покачивал своим “дипломатом”. На лестнице было тепло, сухо, и он бы, наверно, переночевал на площадке. А утром — за паспортом.

— А вам совсем некуда? — с усилием спросила мать Лёхи.

— Получается, да. Мог бы в общежитие, где до армии... но оно на окраине, и вряд ли вот так пустят. Утром надо в военкомат, паспорт получить... Хотел добавить: “Что ж, поеду на вокзал”, — но не добавил. Продолжал стоять. Чувствовал, что женщина может впустить. И не ошибся.

— Ну, если совсем некуда... Только прошу извинить за беспорядок — гостей давно у нас не бывало... — Она посторонилась, пропуская, и заодно представилась: — Ирина Михайловна, мама Алёши.

— Евгений.

— Я помню.

Снял шинель и сразу ощутил, какая она неудобная и тяжёлая. За всю службу надевал считанные разы — в основном ходил в заполярке... Вспомнилась байка, что шинели специально сконструировали так, чтобы было неудобно поднимать руки вверх — в плен сдаваться. Может, и правда...

— Угостить мне вас, Евгений, особенно нечем. У нас, кажется, дело снова к блокаде идет.

— Я заметил... Хотел купить что-нибудь, зашёл в один магазин...

— Пусто? — с каким-то злорадством перебила женщина. — Везде пусто. Шаром покати. Даже по талонам не выкупить... Пока Ленинград был, ещё обеспечивали, а теперь...

Женька сочувственно вздохнул.

А есть хотелось. Надо было всё-таки потыкаться в магазины, найти столовую или кафе. Но ведь думал, что здесь Лёха...

— Ячку с подливой будете? — словно услышав его, предложила Ирина Михайловна. — Капуста есть квашеная.

— Не откажусь... — И Женька тут же заторопился: — Я могу сходить. Скажите, где что может быть. Деньги есть.

— Деньги и у нас есть... немного. Только вот купить нечего. Или по таким ценам!.. Спекулянты... Мойте руки, еда ещё тёплая — поужинала только.

Раньше у квартиры явно была другая планировка. Нынешние стены выглядели слишком тонкими — то ли из гипсокартона, то ли вообще из фанеры, обклеенной обоями. Санузел крошечный, а ванна — на кухне, прикрытая занавеской.

— Вот, пожалуйста, — Ирина Михайловна поставила перед Женькой тарелку с желтовато-серой кашей. Сбоку коричневатое озерцо подливы с малюсенькими кусочками чего-то мясного — жил, а может, брюшной плёнки.

— Спасибо.

— Да за что здесь спасибо... Вот хлеб, капуста. Зато чай настоящий, цейлонский! Будете?

На сей раз Женька нашёл силы отказаться:

— Да я воды просто, и — спать. — И мысленно пропел: “Давись чайком в своей каптёрке, старшина!”

— Что ж, не буду настаивать. — Мать Лёхи присела напротив. — Там-то как кормили?

— Ну, неплохо. Только в последние месяцы... С мясом тяжело стало. Стали привозить... — Серега замылся, не решаясь сказать — самому не очень-то верилось. — Привозят полтуши. Я как раз на разгрузку попал. Ну, думаю, класс — баранина. Я сам из Сибири, люблю баранину. Только какое-то мясо очень черное. Кладу в холодильник, смотрю — штамп, а на нём “1949”. И это не баранина оказалась, а говядина.

— Господи-господи, это вообще самые закрома вычищают!

— Только не пересказывайте, а то скажут, что панику сеете.

— Да чего здесь сеять. Всё уж посеяно. За яблоки гнилые дерёмся.

Женька покачал головой. Как-то даже стыдно стало есть...

Их посёлок был полусекретным, комбинат принадлежал Министерству обороны, обеспечение лучше, чем в городах. Но и сосиски, и сыр были там в восемьдесят восьмом, когда он уезжал, страшным дефицитом. И тогдашний Ленинград поразил Женьку обилием и разнообразием еды в магазинах, столовых. Всё, в общем, было, даже красную рыбу иногда заставал. И если так сейчас здесь, то что у них там, в Пригорске?.. В недавних письмах домой он жаловался: надоела гречка.

7

Ирина Михайловна показала ему комнату Лёхи — почти квадратная, уютная, со старой, покрытой лаком мебелью, толстыми шторами, — но для ночёвки определила другую.

— Мы с Алёшей вдвоём остались, так что места много... Вот здесь располагайтесь. Сейчас постель застелю.

— Да я сам...

— Хорошо. Принесу бельё.

Женька увидел проигрыватель на этажерке.

— Извините, а можно я одну пластинку послушаю?

Маму Лёхи эта просьба, судя по выражению лица, не слишком обрадовала. Наверняка хотелось тишины... Женька на всякий случай добавил:

— С лета храню, а послушать негде было... Последний альбом “Кино”.

— Да, правда? — Она вдруг расцвела, превратилась на несколько секунд в девушку, и Женьке захотелось её обнять; он испугался, отвёл взгляд. — И где же вы его раздобыли там, в лесу?

— Заказал наложенным платежом... В каптёрке лежала. У нас на заставе проигрыватель сломан.

— Давайте, конечно. Я тоже послушаю. Не возражаете?

Женька улыбнулся. Достал из “дипломата” жёлтый пакет с красным, будто кровавым, перекрестьем, и словом “Кино”. В пакете был свёрнутый в трубочку плакат с фотками и текстами песен, и сама пластинка — в чёрном конверте. Пакет за эти месяцы кое-где поцарапался, конверт слегка потёрся, но коробка, в которой они пришли по почте, не вмещалась ни в вещмешок, ни в “дипломат”.

Ирина Михайловна включила проигрыватель, сняла с иглы комочек пыли, Женька опустил пластинку на резиновую подложку. Послышалось такое знакомое ему шуршание, и вот — первые звуки мелодии. Энергичной, ритмичной, однообразной.

Раз квадрат. Второй. И голос Цоя:

*Я выключаю телевизор, я пишу тебе письмо
Про то, что больше не могу смотреть на дерьмо,
Про то, что больше нет сил,
Про то, что я почти запил,
Но не забыл тебя...*

На конверте диска не было списка песен. Эту Женька уже слышал. По телевизору, в какой-то из вечерних музыкальных программ в выходные. Их теперь много...

Цой, “Кино” были одной из главных причин, почему он поехал в Питер. Хотелось слушать их вживую, попытаться стать, как они.

В первые месяцы — осенью восемьдесят восьмого — Женька почти все деньги тратил на концерты. “Ноль”, “Аукцион”, “Кошкин дом”, “Бригадный подряд”, “Телевизор”, “Опасные соседи”, “Объект насмешек”, “ДДТ”, “Алиса”... На “Кино” попасть никак не удавалось. Выступали они в Питере редко, да и то в СКК, куда билеты стоили намного дороже, чем в рок-клуб, в разные ДК.

После концертов он знакомился с разными ребятами, иногда с самими музыкантами. Случалось, играл перед ними на гитаре, показывая своё мастерство. Но интереса они не проявляли — подобных, а то и куда круче, сочиняющих отличные тексты, было полным-полно. Женька тоже пробовал писать, но получалось беспомощное, вроде такого:

*Я вышел из метро на станции “Купчино”,
Ветер гоняет по асфальту листву.
Я знаю, что жизнь моя почти кончена —
Скоро в армию я ухожу.*

Хотя строки эти родились из страшной картины: Женька ехал в трамвае с Васильевского острова в центр и увидел на набережной человек десять парней. На костылях. У кого не было правой ноги, у кого — левой. Только недавно кончилась война в Афгане... Позже узнал, что где-то в том месте был протезный центр.

Хотелось стать рок-музыкантом. Быть причастным к исполнению сильных, честных песен. Как причастен Юрий Каспарян, гитарист “Кино”.

Пик их популярности, а главным образом, конечно, Цоя, Женька наблюдал, находясь в эпицентре, — в городе, с которым “Кино” неразрывно связывали. Когда приехал, все пели, вернее, твердили, как заклинания, песни из “Группы крови”; выпешедший весной восемьдесят девятого альбом “Звезда по имени Солнце” очень полюбили подростки. Просто с ума сходили... К тому же Цой стал актёром — эпизод, зато какой, в “Ассе”, главная роль в “Игле”. На сеансы “Иглы” было в Питере не попасть...

И в то же время Цой сделался в родном городе гостем. Если Кинчева, Шевчука, Майка, не говоря уж о Гаркуше, Фёдоре Чистякове, можно было чуть ли не каждый день встретить на Невском, то Цой приезжал коротко, на концерты.

Сейчас, слушая песни с “Чёрного альбома”, Женька вспоминал разные случаи. Как, например, они с училищным приятелем Максом пришли в гости к девчонкам.

Где познакомились? Как?.. Наверное, в кинотеатре — они с Максом тогда часто ходили в ближайший от общаги “Невский”. А может, и у метро “Ломоносовская”, на автобусной остановке... Как звали девчонок?.. Тогда было столько новых людей, что имена почти всех стёрлись. А с этими девчонками у них и был один вечер.

Они где-то то ли учились, то ли работали, снимали квартиру в башенке возле Володарского моста, и Женька с Максом пришли к ним в гости с двумя бутылками кислющего и малоградусного “рислинга”. Но уж что сумели раздобыть. Заранее договорились, что Макс будет обхаживать коренастую, зато горячую, дерзкую, с выбеленными волосами, а Женька — худую, сивенькую, скромную. “Скромные потом такими, бывает, становятся!..” — помнится, обнадежил Макс; он был старше на год, учился не в самом ПТУ, а в ТУ — техническом училище при путяге, куда принимали получивших среднее образование и учили не три года, а всего год.

Выпили вина, поболтали о пустяках, и Макс предложил выключить люстру. Выключили. В полутьме — с улицы даже сквозь шторы бил свет — разделились. Женька со своей сивенькой сел на одну кровать, Макс с горячей — на другую. Некоторое время обнимались и целовались, причём сивенькая, как и предсказывал Макс, становилась с каждой минутой всё страстней... Они уже легли на кровать — лежа целоваться удобней...

И тут Макс начал расспрашивать свою, зачем она приехала в Питер, что вообще ей интересно, какую музыку слушает.

Сначала она отвечала как-то спокойно; Женька почти и не слушал, увлечённый обнимашками, но потом голос горячей стал злым, она поднялась, сама налила себе вина, быстро выпила. И понеслось:

— К Цою приехала! Да! Его люблю. У дверей его стояла, а он... А он к этой свалил, в Москву! И зачем ко мне в душу лезть? Думаете, я с вами вместо него буду? Да на хрена вы мне сдались?

— С дуба ёкнулась? — растерянно спросил Макс.

— Она просто таблетки принимает... Обещала сегодня пропустить, чтоб с алкоголем не мешать, — стала объяснять сивенькая.

— Ты вообще заткнись! Ты под любого готова, сука... А я не буду, не буду! — Горячая схватила нож и стала полосовать себя по руке.

В общем, Макс с Женькой пришлось сваливать.

Другой случай. Похожий, но без истерик.

Почти перестав ходить на занятия, потеряв стипендию, Женька по субботам и воскресеньям подрабатывал на хладкомбинате — снимал с ленты стаканчики с пломбиром и складывал в коробки. Простая, но выматывающая однообразием операция... И часто напротив него оказывались одни и те же девушки... Нет, молодые женщины в его тогдашнем восприятии — им было прилично за двадцать. Как звали двух, запомнил — Ольга и Наталья. Самые обычные имена, но с этими девушками он сдружился.

Они работали на прядилке — прядильной фабрике, денег не хватало, пришлось в выходные по несколько часов стоять на конвейере.

После первой зарплаты Женька пригласил их в ближайшую чебуречную, а потом они стали приглашать его в гости. Жили в общежитии в районе метро “Проспект ветеранов”, хотя от станции нужно было еще идти минут двадцать дворами, через пустыри, мимо садовых участков. Поэтому выбирался к ним нечасто, но, преодолев злую вахту, оказавшись в их уютной, обжитой комнате, чувствовал себя как дома... Да, именно так — как дома.

Он и отвальную у них справил, они подстригли его, напугав, что в армии не стригут, а рвут волосы тупыми машинками...

Ольга и Наталья относились к нему заботливо, словно к младшему брату, а может, и сыну. У них детей не было, и при тогдашнем раскладе — вряд ли могли появиться. Работали на прядилке по лимиту, а в случае беременности могли лишиться места в общежитии.

— По закону не имеют права, — говорила Наталья, — но по жизни — выживают. Им ведь рабочие руки нужны, а не мамашки в декрете.

— По закону они нам давно квартиры должны дать, — отзывалась Ольга. — Мы по шесть лет отпахали!..

Но такие вспышки горечи случались редко. В основном велись душевные беседы, и по большей части о родных местах. Ольга рассказывала о своем селе рядом с Тулой и часто угощала привезёнными оттуда огурцами, приговаривая:

— У нас в Туле огурцы лучше всех солить умеют!

Наталья была из Лудейного Поля, это не так далеко от Питера — часа три езды. Про детство там вспоминала сладко, смешивая разными историями, но теперь туда не ездила. О причине Женька не расспрашивал.

На Ольгиной половине над кроватью висела фотография Цоя. Не того звёздного, каким он стал после “Группы крови”, а раннего, мало кому известного. Длинные пышные волосы, нижняя челюсть ещё не так сильно выпячена вперёд, на шее бусы, глаза подведены, белая рубашка с широким воротником. Этакая восточная девушка. В нижнем правом углу фото виднелся гриф гитары, колки. А в нижнем левом, поверх рубашки, — завитушка подписи... Год, наверное, восемьдесят третий — восемьдесят четвёртый. Женька тогда учился в шестом классе, а девчонки, наверно, уже бегали в рок-клуб...

Теперь ходили на концерты вместе. Правда, в рок-клубе их становилось всё меньше — более-менее известные группы предпочитали Дворцы

культуры, популярные концертные залы вроде “Юбилейного” или “Октябрьского”, а знаменитые — СКК имени Ленина.

Однажды, ранней осенью восемьдесят девятого, Женька узнал, что “Кино” в городе и даёт единственный концерт. Примчался к девушкам, но Ольга сразу отрезала:

— Я не пойду.

— Денег нет, Оль? Я куплю билеты.

— Не хочу. Не пойду.

Женька оторопел, потом оглянулся на фотку.

— Но у тебя же вот... Цой здесь.

— Вот именно — здесь. Мой. Тот. А этого не хочу.

Тогда он ничего не понял. Просто расстроился. Пошёл на концерт один. Там, в толчее под сценой, познакомился с девочкой Аллой.

...Проигрыватель щёлкнул, рычаг с иглой поднялся. Пластинка медленно остановилась.

— Бедный мальчик, — вздохнула мама Лёхи. — Совсем ведь молоденький погиб.

— В двадцать семь, — с несогласием в голосе ответил Женька, которому двадцать исполнилось три недели назад.

— Поверь, это совсем ничего... О-ох. — Женщина поднялась. — Пойду спать. Спокойной ночи.

— Спокойной...

Она прошла куда-то по коридору. Послышался звук запираемой двери. “Боится”, — усмехнулся Женька.

8

Ждать Лёху с дежурства не стал: “Я позвоню днём”. Нужно было ехать сначала в военкомат, потом — в училище. Ирина Михайловна не уговаривала подождать, а под конец, когда Женька оказался на площадке, сказала:

— Да, так правильно. Он ведь невыспавшийся придёт. Вечером что-нибудь придумаете.

На улице, в сравнении со вчерашним, заметно похолодало. Ещё и этот ветер — как у Гоголя в “Шинели” — налетал со всех четырёх сторон. Пришлось всю дорогу до “Маяковской” придерживать фуражку.

Да, было время, Женька много читал, запоями. Последний запой был в госпитале... В общем-то, и Питер он полюбил в основном по книгам. Там он был мрачным, жестоким, но одновременно таким каким-то манящим, с тёплыми норками, в которых можно продремать всю жизнь. Дремать и сознавать, что дремлешь не где-нибудь, а в Петербурге.

К эскалатору пошёл уверенно мимо будки, где не было турникета, но дежурная задержала:

— Покажите документы.

— Какие? Я вчера из части, еду в военкомат.

— Ну, так вам должны были выдать бумаги.

Пришлось лезть в карман, доставать военник, вложенные в него предписание, требование на перевозку...

— Хорошо, — кивнула дежурная, глянув на даты. — Тут повадились — месяцами в форме ездят, чтоб не платить. Проходите.

Через двадцать минут был на “Ломоносовской”. Сначала не узнал окружающую площадь. Да, и два года назад здесь располагался рыночек, но маленький, скромный, а теперь каждый метр был уставлен коробками, ящиками со всем, кажется, на свете. От банок к солёным помидорам до подсвечников и бюстов Наполеона. Позади коробок и ящиков сидели или стояли тепло одетые люди.

Женька собрался сразу направиться в военкомат, но почувствовал голод — у Лёхиной мамы только чаю попил с намазанной вареньем краюшкой, от ячки отказался — и сделал крюк: помнил, что во втором от станции доме по Бабушкина была столовка. Дешёвая и приличная.

Сохранилась. Правда, меню стало коротеньким, а цены пугающими. Или он просто не привык?.. “Студень говяжий — 0-90, салат из квашеной капусты — 0-53, рассольник ленинградский с курой — 1-25, солянка сборная — 1-87, каша молочная рисовая — 0-25, гуляш говяжий — 1-75, мясо духовое — 2-13, бифштекс рубленый — 0-98, картофельное пюре — 0-50, капуста тушёная свежая — 0-64...” Два года назад можно было нормально наесться на рубль, а теперь... С другой стороны, у него в кармане лежала приличная сумма. Правда, выдали её для того, чтоб он добрался до своего родного посёлка в четырёх тысячах километров отсюда.

Мясо духовое стоило дороже всего, но и масса больше — “45/250”.

— А что такое мясо духовое? — спросил.

Повариха, полная, напминающая тех, из училища, вот только не улыбающаяся, дёрнула плечами:

— Ну, духовое и духовое, вроде жаркого.

— Это с картошкой?

— Картофель, морковь, лук...

— А мясо какое?

— Свиное. — Повариха стала раздражаться.

— Тогда — гуляш с пюре. — Гуляш “75/15”; “15”, надо понимать, подлива. — И солянку.

Повариха налила солянки, плюхнула пюре, начерпала ложкой гуляша.

— Хлеб? Пить?

— Два куса... И чай.

— С сахаром?

— Да.

Обед или поздний завтрак обошёлся в четыре рубля семьдесят шесть копеек. Мда, если тратить в день на жратву по пятнахе, то его приличной суммы хватит на полмесяца. Но ведь будут и другие траты — надо отметить дембель. С Лёхой и другими пацанами с заставы или со Степаньчем.

К Степаньчу надо обязательно. В фуражке он много не находит, да и в шинели... И в ботиночках этих парадных...

Еда оказалась вкусной. Готовить в Питере не разучились. Правда, солянка была жидковата, но ничего — поднялся приятно отяжелевший, омытый горячим потом. Теперь можно и в военкомат.

9

Не думал, что так далеко от метро. Голова успела превратиться в задубевший кочан, пальцы на ногах, казалось, постукивают о подошвы, пот остыл и царапал лопатки... Но увидел знакомое багрово-жёлтое из-за облупившейся краски, напоминающее Брестскую крепость здание, и сразу согрелся. От страха.

Теперь-то, понимал, ему ничего не угрожает, всё пройдено, испытано, долг отдан, но страх только креп. Он шёл, словно на сложную операцию, необходимую и с неизвестным результатом. Операция могла спасти, а могла убить.

Без труда нашёл в доме из нескольких соединённых блоков нужную дверь, открыл, шагнул и сразу почувствовал запах армии. Смесь запахов ваксы, дыма сигарет без фильтра, кожи ремней, ношенных портянок, сукна, ещё чего-то, чем прошиваются стены казарм... Но ведь здесь нет казармы — вроде бы обычное государственное учреждение, а запах есть. Скорее — дух. Дух учреждения, где вчерашних школьников и пэтэушников превращают в духов.

Усмехнулся этому каламбурчику, спросил дежурного:

— Не подскажете, где здесь выдают паспорта?

Дежурный уставился на Женьку ошарашенно, молчал.

— Я за паспортом пришёл...

Глаза дежурного, немолодого уже старлея, может, когда-то за что-то разжалованного из капитанов, побелели. И, заикаясь от бешенства, он зарычал:

— Т-товарищ солдат, из-звольте доложиться!

Женька поставил “дипломат” на пол, подтянулся, приложил руку к фуражке.

— Виноват. Рядовой Колосов прибыл для получения паспорта в связи с увольнением с военной службы.

Им не объясняли в части, как и что говорить в военкомате, да и вообще с этими уставными формальностями Женька за два года сталкивался редко. На заставе не требовалось при каждой встрече с начальником, его замми, прапором отдавать честь и представляться, приказы наряду произносились заученной скороговоркой, на ежедневной боевом расчёте от бойцов не требовалось вести себя, как на параде. На заставе шла работа — работа по охране границы, и чистота сапог, блеск пряжки или brave отдание чести в этой работе стояли далеко не на первом месте.

— Предъявите документы, — потребовал дежурный.

Женька достал военник, бумаги; дежурный слишком внимательно, явно мучая его, читал, листал. Оттягивал момент превращения этого за сутки бывшего об армейском порядке, припухшего бойца в гражданского человека.

Но в конце концов документы вернул, буркнул:

— Пятый кабинет.

В пятом кабинете сидел смутно знакомый Женьке майор. Кажется, как раз он два года назад руководил призывниками — загонял в просторное помещение, похожее на школьный класс, коротко рассказывал о том, как они разъедутся по частям, что можно брать с собой, что нет (неразрешенное можно было ещё успеть отдать провожающим), вызывал по одному, велел расписываться в военных билетах...

Наученный недавним опытом с дежурным, Женька на пороге метнул ладонь к виску, четко произнёс:

— Здравия желаю, товарищ майор!

— И вам того же, — не поднимаясь, ответил тот. — С чем пожаловал?

— Отслужил и хочу забрать паспорт.

— М-м, дело хорошее. Присаживайся.

Подойдя к столу, Женька заметил, какое огромное у майора пузо — оно начиналось от ключиц и шаром упиралось в ребро столешницы... У того тоже было пузо, но меньше. Хотя — за два года наверняка успело вырасти.

— Где служил? — спросил майор.

И дальше последовал подробный допрос: откуда родом, что собирается делать дальше, останется здесь или поедет на родину. Женьке это напомнило сцены из фильмов, где зеки выходят на свободу.

— Значит, — покачал головой майор, — будущее туманно.

— Хочу закончить училище...

— За последний год многое изменилось. Попробуйте, конечно... Но вот мои предложения: школа милиции принимает курсантов, и вы после прохождения службы, да ещё с такими наградами... — Майор раскрыл военник. — “Отличник ПВ — II степени”, “Старший пограннаряда”...

Женька хотел объяснить, что это для чего-то записали уже в отряде, перед увольнением, парадку показать без единого знака, даже без комсомольского значка... Не стал. Сидел, слушал.

— Уверен, они с руками оторвут. И койко-место на первое время, а потом — отдельная квартира, и обмундирование, питание. Или — ещё не поздно на сверхсрочную перейти. Специалисты нужны. Тем более — перешли ведь мы на полтора года. Кто, — голос майора стал тихим и доверительным, — специалистом-то будет. Сами знаете — год в армии выживаешь, полгода в курсе дела входил, а полгода — служишь по-настоящему. У нас эти полгода отняли. — Помолчал, глядя в глаза Женьки своими унылыми и умными глазами. — Как?

— Товарищ майор, — Женька вдруг почувствовал себя виноватым, — разрешите на гражданке пожить? Очень мечтал. Если не получится, то, конечно...

— А, знаю я эти “конечно”... Бандитом станешь, и найдут тебя через месяц в мусоросборнике...

— Ну, ладно уж. — Потянуло засмеяться, но глаза майора не дали;

и потребовались усилия, чтоб Женька сказал: — Разрешите получить паспорт, товарищ майор?

Тот отвёл его к окошечкам, где женщина через десять минут нашла и выдала темно-красный, слегка помятый паспорт с гербом и надписью “СССР”. Женька глянул в него, увидел себя шестнадцатилетнего, с пробормом по центру головы. “Щегол”.

— По закону, — сказала женщина в окошечке, — встать на учёт нужно не позднее десяти дней с момента увольнения. Ясно? Иначе — всесоюзный розыск и уголовная ответственность.

Женька хотел ответить, что Союз-то вроде закончился и теперь будет Содружество — “всесодружественный розыск, что ли?” — но не стал. Кивнул и пошёл.

Проходя мимо дежурки, услышал:

— Товарищ рядовой, рядом с вами старший по званию!

Выхватил из кармана паспорт и помахал им.

— Военная форма обязывает! — гавкнуло вслед.

Вошёл во двор, сорвал погоны, бросил в урну всё равно не греющую фуражку, давящий горло галстучек мышинного цвета, отетегнул хлястик. Поднял ворот шинели и так пошёл вдоль Невы... Ему с детства хотелось почувствовать себя генералом Хлудовым из фильма “Бег”. Жалко, что его шинель была короче хлудовской.

10

В училище с Женькой поговорили коротко и жёстко.

— Времена, молодой человек, другие. Иногородних мы больше не принимаем, общежитие аннулируется. Теперь у нас только ленинградские ребята.

— Но я ведь полтора года отучился...

— Что ж, надемся, этот опыт пригодится вам в дальнейшей жизни.

Женька помялся, не зная, какой бы ещё аргумент найти. Чувствовал, тот канат, что связывал его с городом все два года службы, перерубается острым и тяжёлым топором. А может, и не существовало этого каната, он сам его выдумал, за выдуманное держался...

— Сделайте исключение, а? — попросил жалобно. — Ведь кто-то ещё доучивается... и я доучусь.

Завуч смотрела на него сквозь свои очки с холодной ненавистью. Молчала. Просто не достаивала ответом такую глупость... Наверняка она его вспомнила — вспомнила, как убеждала не пропускать занятия, а он хмыкал и блуждал взглядом по стенам, потолку. И теперь метит.

— Ясно. — У него что-то оборвалось внутри, наверно, тот выдуманный канат лопнул, и стало одновременно и страшно, и легко. — А где мой аттестат?

— Мы всё отправили по месту вашей прошлой прописки. Так что, — завуч развела руками, — прощайте.

Женька вышел в фойе. Здесь проводились линейки, отчитывали злых прогульщиков, хулиганов, делались важные для всех учащихсья объявления. Там вон, направо по коридору — столовая...

“По месту прошлой прописки”, — повторились в мозгу слова завуча.

Вынул паспорт, нашел страницу с прописками. Да, отсюда его вышибли ещё в марте девяностого. Теперь он — формально — бомж. И в другое училище не сунешься: аттестат дома... Надо домой позвонить. Найти ближайшую почту и позвонить. И что сказать? Еду к ним или как?..

В училище как раз началась перемена, фойе заполнили подростки и сверстники Женьки. По крайней мере, на вид некоторым было лет по двенадцать-двадцать... Прошла мимо — нет, проплыла — поразительно красивая девушка. С такой бы в одну группу... Она наверняка местная... Но даже не глянула на него, на его необычную шинель без погон...

Вышел на улицу, медленно добрёл до общаги. Пятиэтажка из сероватого кирпича. Вот лавочка, на ней курили перед тем, как идти внутрь.

Присел, завернув полы шинели, чтоб не промочить брюки, достал сигареты. Пачка почти пуста. В “дипломате” последняя... Закурил, смотрел на окна, сейчас, днём тусклые, какие-то матовые. Ничего за ними не видно. Живут там, нет...

Из общаги он хотел вырваться с первых недель учёбы. Страшное место — вечные разборки, разговоры о том, что кого-то зачмырили, кого-то завафлили, ту-то отымели толпой, а она встряхнулась и продолжает жить, как ни в чём не бывало...

Денег на комнату — тридцать рублей — удалось скопить только через пять месяцев. Стипендию получал, но она почти вся уходила на сладкое, алкоголь, “тошнотики”, кой-какие шмотки.

В училище выдавали талоны на сахар, стиральный порошок, мыло, чай, и пацаны ездили на площадь Мира — там тогда был огромная толкучка — продавали, взамен покупая бухло. На площади Мира Женька и познакомился со Степанычем — тот стоял с картонкой “Сдаю комнату. Васильевский остров”. И поселился у него.

Что ж, надо ехать к Степанычу. И молиться, чтобы он был жив, не спился окончательно, чтобы сумка с вещами была цела. Переодеться и решить...

— Может, будет хоть день, может, будет хоть час, когда нам повезёт, — напел скуляще, просяще, и тут же усмехнулся: если б Цой исполнял такое на концертах сейчас, если б был живой, многие бы ругались: уж ему-то чего жаловаться — слава, деньги, ему повезло. А вот как получилось: обеспеченный, знаменитый, он спел это, и через несколько дней погиб. И мы слушаем и сострадаем ему: просил о везении, но не дождался...

Бросил докуренную сигарету в урну, встал. Ноги были тяжёлые, не гнулись. Нет, не устали, наоборот — полтора года почти каждый день Женька проходил пешком по двадцать-тридцать километров или в наряде вдоль “системы”, или часовым, а теперь третий день, считай, отдыхает. Да, сегодня прошёлся от метро до военкомата, от военкомата до путяги, но разве это расстояния...

II

Отсутствие погон дало о себе знать. В автобусе проехал бесплатно, зато при входе в метро опять остановили. Женька уже привычно достал бумаги.

— А форма-то неполная, — оглядывая его, сказала дежурная.

— Это чтобы честь не отдавать. Устал.

Она понимающе кивнула и остерегла:

— Смотри — заметут. С этим строго.

В вестибюле “Василеостровской” напоролся на патруль: лейтенант и двое курсантов по бокам. Увидев его, лейтёха оскалился, как голодный хищник.

— Т-товарищ солдат!

Женька сделал вид, что не слышит. Лейтёха дал команду, и курсанты бросились наперерез, умело преградили путь: один встал спереди, другой — сзади.

— Что за вид, рядовой?! — Лейтёха, парень лет двадцати пяти, был в бешенстве.

— Я уже не боец, — хмыкнул Женька и показал паспорт.

— А что за форма одежды?

— Ну, вот такая. Нравится.

— Требую переодеться в общегражданскую, а не устраивать цирк!

— Как только найду — переоденусь. Обещаю, товарищ лейтенант.

Это “товарищ лейтенант” лейтёхе слегка польстило. Он мотнул головой курсантам: дескать, пусть идёт.

Пошёл. Поднялся. Вышел. Остановился на высоком крыльце станции. Внизу, направо и налево был Средний проспект. Знакомые дома, вывески; вот трамвай прозвенел... Люди идут по тротуарам, перебегают улицу, небольшими волнами поднимаются по ступеням на станцию, вытекают из

станции. Небо здесь высокое, чистое. И воздух не совсем тот, что был на “Ломоносовской”. Свежее, с привкусом моря...

Закурил, чтоб отогнать, прибить волнение. Волнение и от встречи с местом, где прожил больше года, и от того, что его ожидает через полчаса.

Но сигарета показалась горькой, во рту стало сухо. Да, попить бы... Тут где-то были аппараты с газировкой... Спустился, глянул налево. Стоят, даже светятся желтым окошечки “С сиропом”, “Без сиропа”. Но стаканов нет.

— Могу предложить воспользоваться, — сказали рядом.

Мужичок, вполне приличный, держал в руке пол-литровую банку.

— Что?

— Могу предложить тару. Двадцать копеек прокат.

Первым желанием было дать мужичку в морду. Сдержался, нашёл в себе силы ответить:

— Спасибо, не надо.

Тем более, увидел, и газировка стоила не одну и три копейки, а десять и пятнадцать.

Прошёл десяток метров, наткнулся на очередь. Она была за сигаретами. Торговали прямо с фабрики Урицкого. Сигареты купить необходимо. Да и людей немного, человек двадцать.

В продаже были “Космос”, “Стрела” и “Беломор”. Цены, к удивлению, Женьки, почти как раньше. Ну, раза в полтора выше... Купил три “Космоса” и две пачки “Беломора”. На всякий случай.

Положил их в “дипломат”, защёлкнул замки и, повеселев, направился дальше.

Васильевский явно принимал его возвращение с посылной гостеприимностью. Ещё через сотню метров Женька увидел продуктовый магазин, в окнах которого мигали ёлочные гирлянды. Даже сейчас, днём, это мигание манило. И он зашёл.

Этот был повеселей, чем возле Финбана. Банки с соком, рожки, крупа какая-то, хлеб, “Завтрак туриста”, копчёный сыр даже, свинина, вернее, свиная брюшина пластами. О, вот и газировка!

— “Крем-сода” можно бутылку?

— Можно, — без радости отозвалась продавщица.

Подала.

— А открывашка есть?

— Сначала расплатитесь. Сорок пять копеек.

Женька подал рубль, принял полтинник и пятак... Продавщица протянула открывашку на веревочке. Открыл, отступил на шаг от прилавка, отпил.

— А бутылку сдать можно?

— Нет...

“Хочет, чтоб я оставил, и заберёт, — решил. — Бутылка-то не меньше двадцатика. Хрен ей”.

Уже собрался выйти, но заметил: магазин состоит из двух отделов — второй был за шторкой, и именно там мигало и оттуда звало...

Вошёл и остолбенел. Висели гроздьями колбасы разной длины и толщины, под стеклом витрин-холодильников — куски мяса, кубы сливочного масла, круги сыра. Алкоголь — целый взвод бутылок на полках.

— Это всё по талонам? — спросил продавщицу; она была примерно того же возраста, что и в соседнем отделе, но стройная, улыбающаяся, в одежде и макияже, как на дискотеку собралась.

— Нет, — ответила не она, а сидевший у входа парень в костюме, с аккуратной причёской, — здесь товары по договорным ценам.

В голосе его слышалось: “Нечего тебе здесь делать, нищесброд в шинелишке”.

“Охранник жратвы, лакей”, — мысленно ответил ему Женька и пошёл ближе к прилавку, разглядывая обилие на полках и в витрине. Наткнулся на цены, и глаза полезли на лоб. “Колбаса с/к “Московская” — 245 руб. кг”, “Свинина, мякоть — 97 руб. кг”, “Сыр “Голландский” — 74 руб. кг”, “Водка “Столичная” — 32 руб. 0,5 л”, “Водка “Пшеничная” — 47 руб. 0,7 л”.

Слюна заполнила рот, но слюна ядовитая, едкая. Женька с трудом удержался, чтоб не сплюнуть, проглотил. Запил газировкой. И сказал так, будто бросался с высокого обрыва в реку, не зная глубины:

— Бутылку “Пшеничной”, полкило вот этой колбасы, мортаделлы, и триста грамм сыра... — Покосился на сыр, заметил, что “Пошехонский” на полтора рубля дешевле, — “Пошехонского”.

Продавщица задвигалась. Не суетясь, но и не так, как другие, делая одолжение. Красиво задвигалась, с радостью и изяществом.

— Водка ноль пять, ноль семь?

— Ноль... — Ноль пять “Пшеничной” стоил на восемь рублей дешевле. — Ноль семь, — пальнул Женька и сам испугался, что сказал это.

Потом подрагивающими руками впихивал покупки в “дипломат”, принимал жалкую сдачу с двухсотки. И в голове колотилось: “Идиот, что ты наделал? Кретин! Как дальше?”

— Спасибо! — сказал продавщице и поиграл глазами. — До свидания, — высокомерно попрощался с охранником.

12

Призвав “дипломат” к груди, шёл тем же маршрутом, что и два года назад. “Два года и одиннадцать дней”, — уточнил. Да, тем же маршрутом, только в обратном направлении.

Чем дальше от метро, тем магазинов, разных заведений, контор на первых этажах становилось меньше, и Женька постепенно погружался в воспоминания. Не хотел, но погружался, как в воронку утягивался. Дальше, глубже.

Шёл тогда, как на убой. Скотину гонят, а он шёл сам. Повсюду озабоченные люди, но они знают, что через полчаса, через два часа, вечером придут домой, лягут в свою постель, а он... Где он будет вечером? Где уснёт? Что с ним произойдёт завтра или послезавтра, или через три дня, когда привезут в часть? Армия, дедовщина... Афган вроде кончился, зато другого появилось навалом — Азербайджан грызётся с Арменией, в Фергане резня, в Казахстане, в Грузии; Прибалтика рвётся из Союза...

Немного успокаивало, что его призывают не во внутренние войска, не в стройбат, а в пограничники. Там, кажется, и дедовщина не такая злая, и в горячую точку не пошлют. Хотя... Может, вообще врут про погран — чтоб пришёл. Придёт, а его куда-нибудь в Азербайджан...

Одет был в обноски. Частью свои, частью те, что дал Степаньч. Жалко было нормальной одежды — наверняка там сразу отберут... Лысая голова мёрзла под засаленным петушком. И ноги в кроссовках. Утро, помнится, было морозное.

Шёл и шёл, с каждым шагом приближаясь к метро. Потом проедет до “Ломоносовской”, но не сядет там в автобус, чтоб ехать в путягу, а пойдёт в военкомат. А оттуда... Оттуда его куда-то повезут.

Дрожал от страха. Действительно было страшно. Но кроме армии, он сейчас не видел никаких путей. Сдаться, положиться на судьбу, а через два года вернуться. Если повезёт. За два года многое изменится. А главное — он сам. Повзрослеет, окрепнет, поймёт, как жить. А убьют или зачмырят до состояния животного, значит, так ему и надо.

Позавчера вечером ему показалось, что нашёл другой путь. Бродил по центру: Пять углов, Рубинштейна, перекусил в “Гастрите”, дошёл до Центрального телефона, отправил бодрую телеграмму родителям, что, мол, ухажу служить Родине, позвонил Алле и попрощался. Пустая и заснеженная Дворцовая площадь. Ветер на ней играет, хотя на Невском было спокойно.

Дошёл до Зимней канавки. Спустился к воде. Вернее, ко льду. Лёд был ребристый, как стиральная доска. Снег с него смело, и ребрышки напоминали заледеневшие волны. Да так оно, в общем, и было.

Дальше, ближе к Неве, перед мостом, поблескивала вода. Поблестит и погаснет — это проползает белая матовая льдина, — а потом снова заблестит, и снова погаснет.

Дней пять назад был почти плюс, а дальше навалились морозы. Наверняка завтра-послезавтра Нева встанет.

И захотелось ступить на лёд и пойти туда, к Неве, к открытой воде. Уйти в неё... На нём было драповое пальто. Такое тяжёлое, что давило плечи. Его подарил отец, когда Женька уезжал в Питер. “Там нужно хорошо выглядеть, — сказал. — Культурный город”. Сам отец нигде за пределами Хакасии не бывал. Родился в деревне, поступил в ФЗО в Абакане, отслужил в армии и стал работать на стройках, потом пригласили строить комбинат в Пригорске, дали квартиру.

Да, армия показала отцу пространство земли — отправили под Калинин. Он часто с удовольствием рассказывал про службу разные байки, анекдоты... Но тогда время было другое, и армия была другая, и страна. А теперь...

Пойти, пойти и уйти. Исчезнуть. Наверное, и испугаться не успеет — ледяная вода обожжёт, в голове заклинит. Вдохнёт пару раз и станет опускаться на дно. Пока хватятся, что исчез, — Нева превратится в поле до самого залива.

Достал деревянными пальцами сигарету, согнулся, прячась от ветра, закурил. О том, что его призывают, уже забылось, вместо этого тянуло узнать, как это будет, — соскальзывание со льда в воду. Может, лёд проломится, а может, он при следующем шаге не обнаружит под ногой опору. И — бульк...

Втягивал в себя дым, переминался, чувствуя, что коченеет. И вода стала представляться тёплой, мягкой. Захотелось в неё. Укрыться, спрятаться... И ничего не будет — ни армии, ни проблем.

А в армию, получается, он сбегает от проблем. Нечем платить за комнату, негде нормально работать; парней — Дрона, Вэла, — с которыми только-только стали зашибать хоть какие-то баблишки мелкой фарцой, позабирали в армию. Да ещё эта Алла...

В начале сентября на концерте “Кино” в СКК познакомился с малолеткой.

Цой на сцене пел свои хиты, а она стояла под сценой и плакала. Но не от восторга, а от обиды.

— Что случилось? — прокричал ей в ухо Женька.

Она подняла на него сморщенное личико и тоже крикнула:

— Зачем они так?

— Кто? — не понял Женька.

— Вон те.

Недалеко от них была толпа крепких взрослых парней, человек тридцать, наверно. Как только кончалась очередная песня, они начинали выкрикивать:

— “Кино” — говно! “Кино” — говно!

Парни не были похожи на гопников. По виду — обычные нефоры. Но Женька сказал ей:

— Не обращай внимания. Урла решила поглумиться. — И приобнял, и она с готовностью ткнулась лицом ему в грудь.

Позже Женька решил, что это, наверно, те бывшие фанаты “Кино”, что не могли простить Цою переезда в Москву, концертов группы на больших сценах вместо ДК, рок-клуба...

А с Аллой... Он проводил её сквозь забитый орущими, свистящими, откуда-то доставшими бухло чуваками парк Победы до метро. Предложил встретиться, и Алла дала ему номер телефона и объяснила, во сколько лучше звонить, чтоб трубку взяла она, а не родители. Женька хмыкнул на это подростковое словцо. А через два дня позвонил, стали встречаться, гуляли вместе.

Женьке нравилось, он напевал: “О-о, восьмиклассница!...” А Алла каждый раз поправляла:

— Я уже в десятый перешла. Так что не надо.

— Ну, так целый класс перескочила. — В том году школы стали одиннадцатилетками.

— А если по-старому — в девятой. Всяко-разно не восьмиклассница. — И Алла смеялась.

Она пригласила его домой. “Родичи на работе”. Он пришёл. Алла жила в Купчино, недалеко от метро “Звёздная”. Новая девятиэтажка, светлая и незахламлённая квартира. За год жизни сначала в общежитии, потом в норе у Степаныча Женька там прибалдел. Развалился на диване в большой комнате и пил чай из фарфоровой чашки. Алла смотрела на него пристально и серьёзно. Он не хотел понимать этот взгляд.

Недели через две она снова пригласила, и он снова приехал. Тогда и случилось...

Потом, понимая, что совершил, быстро собрался и убежал. Долго не звонил. Всё это время не проходили тошнота и страх. Снилось, что она залетела, рассказала про него, за ним приходит наряд, выводят, везут...

Может, просто не решился подойти к автомату и набрать её номер, может, выжидал, чтоб узнать, случилось или нет, — сам не мог понять. Но в конце концов, не выдержал.

Алла услышала его голос и стала кричать, давясь спазмами: “Где ты был?! Где ты был?! Я хотела умереть без тебя!”

На другой день встретились. Она требовала, чтоб он приехал к ней, но Женька настоял на встрече в центре. Алла была в школьной форме и куртке-дуйке, с сумкой, в которой лежали учебники.

Была середина ноября, но день выдался тёплый. Может, и не очень выше нуля, но без ветра, с чистым небом. И они долго гуляли. От Гостиного Двора до Стрелки, по набережной Макарова...

— Слушай, а ты домик видел? — Алла резко остановилась.

— Какой? Тут сплошные дома...

— Не дом, а домик. Пойдём!

Схватила его за руку и потащила в арку. Женька затревожился — мало ли чего можно ожидать от пятнадцатилетней и явно влюблённой девочки...

Во дворе, прилепившись к глухой кирпичной стене, стояла избушка. Совсем деревенская. С палисадником, в котором росло кривоватое, явно плодое дерево, с узорами на наличниках, с верандочкой...

— Ни фиги себе! — вырвалось у Женьки. — Как он уцелел вообще?

— Вот такие у нас в Ленинграде чудеса.

Алла в этот момент была такой... Не то чтобы красивой, а светлой, солнечной, что Женька чуть не обнял её. А она, не дождавшись этого объятия, убрала улыбку, сказала:

— Не бойся. У меня есть...

И с тем видом, с каким дети в детском саду показывают друг другу необычные фантики или бутылочные стеклышки, достала из кармана гармошку презервативов.

— Я с тобой хочу... Я люблю...

Он собрался ей много чего сказать, но всё об одном — “нельзя”. Вместо этого обнял и повёл к себе.

А пятнадцать минут назад сообщил, что уходит в армию. Всё. Алла там, внутри трубки, зарыдала, и он повесил трубку на крючок.

Её родители стопроцентно были дома. Прибежали, стали спрашивать, что случилось. Она им рассказала. И папа потребовал адрес, и, наверное, уже мчится на Четырнадцатую линию. Чтоб задавить эту мразь. То есть его, Женьку Колосова. Если б он был отцом пятнадцатилетней девочки из хорошей ленинградской семьи, он бы задавил.

Женька сосутил с гранитной плиты на лёд. Но одной ногой, и даже не ногой, а носком. Поймал себя на этом, и встал твёрдо. Сделал шаг, слегка подпрыгнул. Сделал ещё шаг.

Ветер здесь, в рукаве канала, дул с ровным и упорным напором, как в трубе. Нет, не с ровным, а пульсирующим. Будто где-то стоял великан с огромными мехами и качал воздух. И каждая порция этого воздуха становилась сильнее и плотнее. Женька нагнулся вперёд, чтоб ветер не опрокинул, вспомнил, что в подобной позе изображена свита Петра Первого на картине Серова, бормотнул язвительно:

— Да, не Пётр... — Швырнул в сторону окурок, пошёл вперёд уверенно, сам за собой наблюдая, гадая: утопится или нет?

И тут заметил — льдины впереди ползут не справа налево, а наоборот — вверх по течению. Решил, что показалось, что уже начались предсмертные глюки, что он и совершает это всё, потому что крезанулся от страха и безысходности.

А потом лёд канала ожил. Не ломаясь, не крошась, он стал двигаться навстречу Женьке, поигрывая рёбрышками, вспыхивая искрами.

Женька остановился, не понимая, что это, что с ним такое, со всем окружающим миром, таким реальным несколько секунд назад, и вдруг соскочившим с петель или с оси, и полетевшим на него...

На него шла вода. Слой воды. Это она, вода, шевелилась, наскокивая на рёбрышки, она искрилась отсветом фонарей.

Он развернулся и побежал, скользя, пробуксовывая, валясь то вбок, то назад. Но успел — заскочил на гранитную плиту, дёрнул вверх по лестнице. А вода прошла мимо, тихо шурша, булькая пузырями вырывающегося из трещин во льду воздуха.

Постоял, посмотрел и захохотал. Хохотал над собой, над всей этой ситуацией, и так, хохоча, пошёл на квартиру. Отца Аллы он не боялся — теперь хотел, чтобы тот оказался там и отделал его в фарш. Ссыкло такое, ничтожество, гниду безвольную...

13

Пересёк Малый проспект. И вот последние сотни метров пути. Дом 75, дом 77 — школа... Здание, слишком для школы суровое, — как старинный заводской корпус... Дом 85 возвышается одиноко, напоминает клык. За ним 89, четырёхэтажный, приятный... Уже скоро... Ему нужен 97Д. Арка в нём. И там, в глубине дворов, прикрытая от посторонних глаз навесом спуска в подвал, дверь лестницы. Первый этаж, налево...

На бульварчике, разделяющем Четырнадцатую и Пятнадцатую линии, стояла женщина, а рядом, отдёргивая от снега лапы, бегал дог. Женька узнал их — соседка Дина и её Бах. Дина, кажется, в том же пальто, что и два года назад.

— Здравствуйте, — сказал, подходя, и заулыбался; хотелось улыбаться, погладить пса, обнять Дину.

— О, здравствуйте! — Она не столько обрадовалась, сколько удивилась. — Вернулись?

— Да вот... отгарабанил.

Они часто встречались именно на этом месте — Дина выгуливала Баха, а Женька отправлялся утром в училище или возвращался вечером домой. Иногда коротко разговаривали. Дина была вечно грустноватой, а может, задумчивой. У неё была странная профессия: нотный корректор. Наверное, всё время слушала музыку, играющую у неё в голове, и пыталась найти ошибку.

Бах остановился, несколько секунд с подозрением смотрел на Женьку, а потом как-то по-щенячьи визгнул и подскочил к нему. Чуть не сшиб.

— Привет, привет! — потрепал его Женька по толстой и твёрдой шее. — Вспомнил... А, это, — обратился к Дине, — хозяйина моего видите? Степаныча... Жив он, нет?..

— Жив-жив, ещё как! Шустрит всюю.

— Ну, это хорошо. — У Женьки отлегло от сердца, даже задышалось легче. — Спасибо. Пойду тогда, попроведаю.

Дина грустно кивнула... Женька понимал, что нужно спросить, как у неё дела, хотя бы из вежливости, но будто сильный невидимка тянул его в арку. Скорее увидеть Степаныча, узнать про сумку... Да и замёрз он прилично. Особенно голова.

Арка. Один двор. Ещё арка, второй двор, крошечный, в самые ясные дни сумрачный. Глянешь вверх, и создаётся впечатление, что стены возвышаются не вертикально, а с наклоном внутрь двора, и пятачок неба совсем-совсем крошечный.

Вот навес над подвалом — жёсть доржавела до дыр, — а вот и дверь. Деревянная, двустворчатая, но одна створка приколочена к коробу; как-то жильцы, то ли выезжающие, то ли въезжающие, таскали мебель и выдрали гвозди, но потом кто-то — дух дома, не иначе — снова эту створку забил...

На лестнице пахнет прелью, как и тогда. Может, так же пахло и двадцать лет назад, и сто двадцать. Ну, не сто двадцать — дому поменьше. Начала века, судя по виду. Хотя за эти восемь десятилетий состарился он не меньше, чем человек.

Степаныч здесь — на Ваське — родился и прожил всю жизнь, даже в блокаду. С тринадцати лет работал — с осени сорок первого. Героический вообще-то человек, хотя на вид...

Так, так, спокойно. Пришёл. Будь дома, Степаныч, и не пропей мои несчастные шмотки... Пальто, джинсы, ботинки, шапку... кроличью тёплую шапку...

Вместо кнопки звонка два провода. Соединяем, и в коридоре раздаётся дребезжание. А следом — дверь тонкая, со щелями — шарканье и недовольное бормотание.

— Кто?

— Я, Степаныч! — Женька пугается своего голоса, одновременно и тонкого, и хриплого. — Я!..

Хруст, лязг. Дверь отползает.

— Ух, ё-о! Женья!

Два года никто не называл его Женей. Женька, Джон, Жундос... И Женька морщится, мигает, пряча слёзы.

— Проходи!

Сели на крошечной кухне. Степаныч потирал руками колени — искал, что сказать и не находил. Улыбался, чернели остатки зубов... Женька открыл “дипломат”, вынул водку, колбасу, сыр.

— Ух, бога-ато! — И Степаныч, не вставая, выхватил с полки две стопки. — За возвращеньеце?

— Наверно... Рад, что жив...

— Кто? Ты?.. И я рад.

— Рад, что ты жив, Степаныч.

— А, я... Мне-то что делается... Я — долгоиграющий.

Посмеялись. Коротко и натужно.

Побулькало, словно бутылка отмеривала глотки, сначала в одну стопку, потом в другую. Тускло звякнуло друг о друга толстое стекло.

— Ну, с возвращением!

— Да.

Водка вошла так легко, что Женька решил: разбавлена. Слабее вина градус. Почмокал губами, ища жжение... Нашёл. Стало жечь. И во рту, и там, в груди... Наверно, от волнения сначала не почувствовал.

— Пошинковать? — кивнул Степаныч на закуску. — У меня помидорки есть. Ты ж голодный... О, супик ещё, немецкий!

— В смысле — немецкий?

— У нас тут палатку возле рынка поставили и выдают пенсионерам с двух до четырех. Хожу — бидончика на три дня хватает.

— А при чём здесь немцы?

— Ну, они выдают. Гуманитарная помощь... Хороший супик, густой, с салом...

— Не, я лучше колбасы.

Степаныч хотел подскокнуть, Женька остановил:

— Давай сначала ещё по одной. Замёрз... Сумка-то моя целая?

— А как же! Лежи-ыт. Как было, так и осталось. Ты что?..

— Да я так... мало ли за два года...

— Два года. И ни слуху, ни духу. Написал бы хоть.

Женька усмехнулся:

— Да что писать... Служил как мог...

— Отслужил — и слава богу. — Степаныч поднял свою стопку. — Отдал долг родине. Меня вот не взяли — малокровие, рахит, ещё разное попадали...

— Ну и ладно. Не хрена там делать.

— Не скажи. Тогда это позором считалось — не отслужить. Может, у интеллигенции и по-другому, а у нас...

— Ладно. — Женька решил не продолжать этот полуспор; тем более день сворачивал к вечеру, нужно было выяснить главное.

Выпили, закурили, и он спросил:

— А комнату сдаёшь?

Степаныч покачал головой утвердительно.

— Ну, а как, Жень...

— Да, я понимаю. Ничего.

— Можешь у меня первое время — топчан широкий. А я побегаяю — может, сдаёт кто. Или его, ну, жильца нынешнего туда, или тебя... Мне бы с тобой, конечно. Тот такой... кривится всё...

Водка начала свою работу: тело расслабилось, в голове образовалось лёгкое тёплое колыхание. Хотелось отвалиться к стене, неспешно балякать, покуривать, жевать что-нибудь и время от времени подбрасывать внутрь ещё стопочку, чтоб колыхание не прекращалось. Держать его, не думать ни о чём. Тем более о том, что делать завтра, дальше...

— Домой поеду, — выдал Женька. — Всё равно не на что жить, и за комнату платить. Вот бутылку купил, закусить, и почти пустой. Билет хоть бесплатный оформили...

— Так, погоди! Кого — домой? — перебил Степаныч только сейчас, будто не сразу осознал первую Женькину фразу. — Там-то что? Там, поди, совсем... Везде вон всё закрывают. А Ленинград — он стоит пока. Держимся.

— Да я увидел...

Взгляд Степаныча стал строгим. Жёстким, скорее. Неожиданно и как-то для Женьки ново.

— Ты не кривись. Это так, внешнее. Держимся, понимаешь? И тебя удержим. Люди пропасть не дадут... Так! — осторожно забычковал сигарету и положил в ложбинку пепельницы. — Счас нарежу твоих деликатесов, помидорок, и потолкуем. Без харчей пить нельзя — попадаем просто...

Снял с гвоздя деревянную доску, оглядел близоруко, понюхал, положил на стол.

— О, погоди! — повернулся к Женьке. — О тебе ж тут справлялись!

— Что?

— Приходила одна месяца полтора назад, спрашивала.

Женька повторил:

— Что? — но уже понял, о чём и о ком говорит Степаныч, и страх, смешанный с радостью и надеждой, напряжинил тело, остановил колыхание.

Степаныч почти побежал к себе в комнату, чем-то там громыхнул и вернулся. В руке были розовые шерстяные перчатки.

— Вот, оставила, — протянул Женьке и с театральным напором добавил: — Забыла, видать.

Женька принял их, мягкие и тёплые, будто только что снятые с рук. Помял, и почувствовал, что внутри бумага.

Вынул сложенный несколько раз лист в клеточку. Развернул, прочитал: "Позвони. Алла". И номер телефона.

14

Последний по алфавиту расписался и сел на место. Майор-пузан оглядел лысые и волосатые головы, подвигал челюстью. Казалось, сейчас рявкнет первую в их армейской жизни команду. Но майор не рявкнул — сказал почти ласково:

— Десять минут на прощание с родными и близкими, а потом — в автобус. — И всё-таки не удержался, хлестнул громким: — Ясно?

Пацаны ломанулись стадом.

Женька не торопился. Его провожали ребята из путяги, но все напутствия были сказаны по пути сюда, на призывной пункт, единственная бутылка портвейна распита. Оставалось высосать с ними сигарету, получить хлопок по плечу...

В коридоре была толчея. Плакали, смеялись, слипались в объятиях по двое, трое, четверо... Офицеры и сержанты покрикивали:

— Проходим на улицу. — Но не жёстко, сдерживаясь: служба ещё не началась.

Женька протискивался к выходу. Хотелось курить, да и просто — на воздух.

— Жень, — голос, тихий и неуверенный, с вопросительной интонацией; знакомый голос.

Он глянул по сторонам, натываясь на близкие спины, затылки, лица чужих людей. Но вот мелькнуло знакомое. Мелькнуло и заслонилось чьим-то туловищем.

— Жень!

Он дёрнулся и разглядел Аллу. Стояла, прижавшись к крашенной зелёным стене.

— Ты... — Женька захлебнулся. — Ты откуда?

— Тебя жду. Второй день.

— А как узнала, где?

До этого вопроса лицо Аллы было растерянно-счастливым, а теперь сделалось злым:

— Да вот нашла... Ты же говорил, где училище, посмотрела, какой район, военкомат... — И перевела взгляд выше, улыбнулась. — Какой ты прикольный без волос!

— Уху...

— Дай потрогать.

Не дожидаясь, поводила ладонью ото лба до макушки, повторила:

— Прикольно... Обними.

Он обнял, ткнулся в щёку губами, словно целовал младшую сестру. Пошёл на улицу.

Там уже начинало темнеть. Во дворе горел костёр, слабо тренькала гитара, и человек двадцать горланили:

Армия жизни — дети могил!

Армия жизни — сыновья помоек!

Армия жизни — солдаты дна!

Армия жизни помнит о том, что на Земле никогда...

Не прекращалась война-а!

Ребята — Макс, Юрец, Сява — пошли навстречу, но увидели, что он с девушкой, оторопело остановились. Про Аллу никто не знал.

Женька извиняясь глянул на них, потом дальше — на автобус. Вытащил сигарету из пачки.

— Возвращайся, — попросила Алла. — Я тебя буду ждать.

— Алл...

— Честно.

— Целых два года. Ты что?.. Не надо. Сейчас для тебя каждый месяц, как год — я помню себя в пятнадцать.

— Мне шестнадцать через неделю.

— Ну и что?

Она обиженно прикусила губу, шикнула:

— Ничего...

— Не обижайся. Забудь лучше.

— Не забуду. — И твёрдо, твёрже, чем в прошлый раз, повторила: — Я тебя буду ждать.

— Давай к чувакам подойдём. Они меня провожают.

Подожли. Женька сказал:

— Это Алла.

Ребята назвали сами. Вопросов не задавали.

Стояли, топтались на скрипучем снегу. Типа песню слушали. Ждали... Алла держалась за рукав Женькиной куртки.

Из военкомата повалили люди. Возле костра запели громче, злее:

*Им так не хватало солнца,
Но ночь была с ними на “ты”.
Вы их называли “шпаной”! Хой!
Они вас называли “менты”!..*

— В автобус! — раздалась команда. — В автобус!

Майор, потряхивая арбузом живота, пробежал к автобусу, словно первым решил её выполнить. Занял место у передней двери и стал выкрикивать фамилии.

— Я, наверно, путягу брошу, — сказал Макс. — Деньги надо зарабатывать.

Женька кивнул, чтоб как-нибудь отреагировать, пожелал:

— Удачи. Может, после армейки к себе возьмёшь. Как они... телохранителем.

— Может! — заржал Макс. — Возвращайся, короче. Береги себя.

Сам Макс был от армии освобождён — в детстве ему отбили почку так, что пришлось вырезать...

Послышалась фамилия Женьки, и сразу стало пусто внутри. Хлопки по плечам и спине, короткие пожелания: “Давай, Джон... держись... счастливо”. И Аллино:

— Возвращайся. Я буду ждать.

Отговаривать её при ребятах было глупо и унижительно. Женька обнял, отпустил и сказал:

— Пока.

И быстро пошёл к автобусу.

Сразу пробрался на заднюю площадку. Выдохнул. Вспомнил, что у него нет её адреса, и стало ещё легче. Всё — отрезало. Новая жизнь.

Призывники влипли в окна, махали провожающим. Стекла запотевали, они тёрли их рукавами... Женька стоял спиной к заднему окну, смотрел в пол, покачивал сумкой с колобками носков, трусами, щёткой, пастой, парой бутеров...

Военкомовский майор забрался в автобус и отрывисто, сквозь одышку, сказал водителю:

— В карантинку... на Обводном... давай.

Женька не выдержал, оглянулся.

Дым из выхлопной трубы ударил Аллу по коленкам, и автобус тронулся.

1991-1992, 1998, 2020